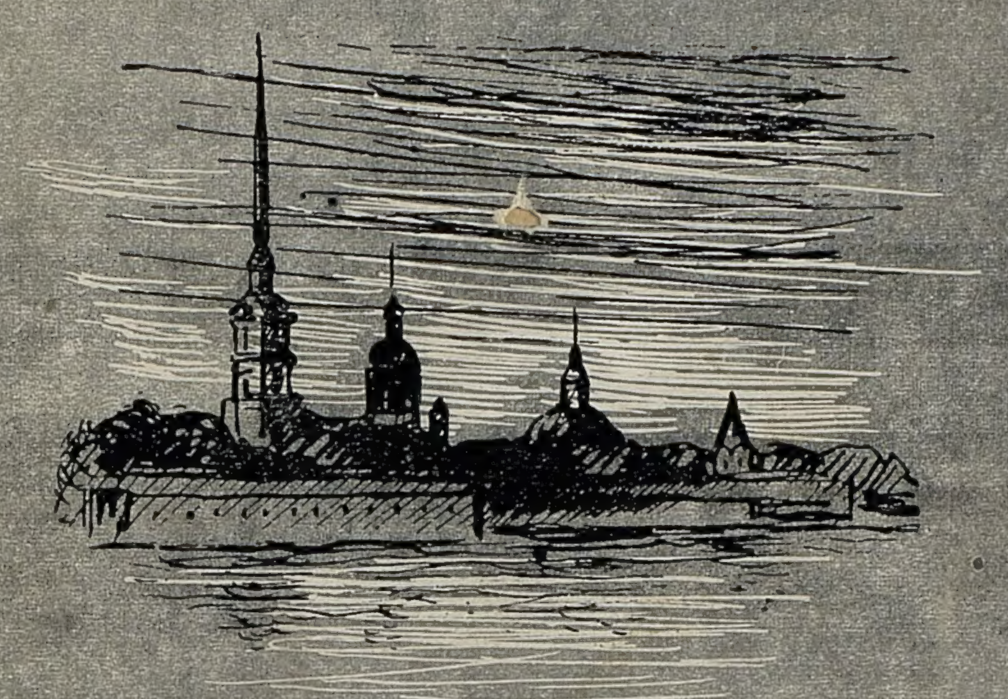


Зинаида Шишова

БЛОКАДА

поэма

Советский писатель 1943

ЗИНАИДА ШИШОВА

БЛОКАДА

ПОЭМА

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА 1943


ГОСУДАРСТВ. ПУБЛИЧНАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

ВСТУПЛЕНИЕ

Дом разрушенный чернел, как плаха,
за Невой пожар не погасал.
Враг меня пытал огнем и страхом,
материнской жалостью пытал.

Мы привыкли к выстрелам и крови,
страха нет, но жалость велика.
Как она свисает с изголовья,
эта исхудалая рука!

133—2

1

Чадит коптилка, а окно забито,
сквозь доски проступает щель зари.
— Не двигайся. Поменьше говори.
Лежи спокойнее — мы скоро будем сыты.

Так сберегай же весь запас тепла,
чтобы отек не поднимался выше,

чтоб кровь твоя спокойнее текла,
а я ее на расстояньи слышу.

Дай руку мне. О, как она легка,—
ведь легче пережженной кости стала
твоя большая крепкая рука,
а как работала, и как устала!

Когда отчаянно сопротивлялась Мга,
когда они над Вырицей летали,
вы по пятьсот погонных метров дали
за сутки в окружении врага.

Потом в лесу четыре дня скитаний,
брусника да болотная вода,
и изувеченные поезда,
и станции обугленное зданье...

Ботинки, скинутые по дороге,
и до́ крови пораненные ноги...
До Ленинграда больше полпути,
и марево полуденного зноя,
и лучший друг, хрипящий за спиною,
которого живым не донести...

Лежи, сынок, ты сделал всё, что надо,—
ты был на обороне Ленинграда!

2

Под Шимском ты с лопатою шагал,
ты тоже дрался, тоже был солдатом,
ты в Оредеже вышел на врага,
как в Порт-Артуре дед и как отец
в Карпатах.

Тобою управляет та же сила,
что мною там, на Кодыме, на льду,
когда я малышом тебя носила,
под пулей спотыкаясь на ходу,—
не героизм — терпение простое,
уменье все перенести, любя...
Лежи, сынок, я выхожу тебя,
я вынесу, как там, на льду, из боя!

Ну, а тебе немногое осталось,—
короткий список выполнимых дел:
стараться меньше думать о еде,
усильем воли побороть усталость,
усильем воли встать и походить,
стараться хлеба до шести не трогать
и знать, что всё плохое позади,
что Северную отобьют дорогу.

3

Я замечаю, как мы с каждым днем
расходуем скупее силы наши.
Здороваясь, мы даже не кивнем,
прощаясь, мы рукою не помашем...

Но, экономя бережно движенья,
мы говорим с особым выраженьем:
«благодарю», «не беспокойся», «милый»,
«ну, добрый путь тебе», «ну, будь здоров».
Так возвращается утраченное было
первоначальное значенье слов.

Выходит на поверку, что тогда
мы просто лгали близким и знакомым,
мы говорили: «невская вода»,
мы говорили: «в двух шагах от дома»,—
а эти два шага — четыре сотни
да плюс четырнадцать по подворотне.

Тут не ступени,— ледяные глыбы.
Ты просишь пить, а ноги отекли,
их еле отрываешь от земли,
дорогу эту поместить могли бы

в десятом круге в Дантовом аду...
Ты просишь пить, и я опять иду,
и принесу хотя бы полведра,
не оступиться б только, как вчера.

Вода, которая совсем не рядом,
вода, добытая с таким трудом,—
ее необходимо кипятить,
а в доме даже щепки не найти...

Вот он стоит, бетонная громада,
свирьстроевский на три квартала дом,—
вот он стоит — без радио, без света,
лишь человеческим дыханием согретый...

4

А в нашей шестикомнатной квартире,
где из шести — разрушено четыре,
жильцов осталось трое: я да ты,
да ветер, дующий из темноты...

Уносит смерть мужей, детей, отцов...
Что ж, мы хороним наших мертвецов,—
ведь это тоже сила и победа —
в такие дни похоронить соседа!

На метр вглубь промерзшая земля
не поддается лому и лопате.
Пусть ветер валит с ног, пускай прохватит
сорокаградусною стужей февраля.

Пускай к железу примерзает кожа,
молчать я не хочу и не могу,
через рогатки я кричу врагу:
— Проклятый! Там ты коченеешь тоже.
Мы выморозим, выморим, как вшей,
тебя из отвоеванных траншей!

Ты это хорошенько всё запомни,
и детям ты и внукам закажи
глядеть сюда, на эти рубежи...
Да, ты пытал нас мором и огнем,
да, ты бомбил и разбомбил наш дом,
но разве мы от этого бездомней?
Ты за снарядом посылал снаряд,—
и это восемь месяцев подряд,—
но разве ты нас научил бояться?
Нет, мы спокойнее, чем год тому назад.
Запомни: этот город — Ленинград,
запомни: эти люди — ленинградцы!

5

Мы прикасаемся с опаской к ним,
как прикасаются к горячей ране,
мы пропускаем их в воспоминаньях,
такие ночи и такие дни.

Четверг. Шестнадцатое февраля.
Дымок. Во рту окалина снаряда.
Чугунная, горячая земля
из развороченной воронки рядом.

Теперь нам проще кажется простого
дорога в госпиталь на площади Толстого...
Но не такой была она тогда:
то нет воды, а то кругом вода
холодным белым салом застывала
(как видно, повредило магистраль).
Сверкал до слез, свистел до слез февраль.
И в инее мохнатом провода
клубились без конца и без начала,—
(на Марсовом, как видно, оборвало).

С трудом тебя взвалили на носилки,
хотя ты был почти что невесом,
и это мне увидеть довелось:

ты на носилках покидаешь дом!
Прозябшая, промерзшая насквозь,
дорожка под полозьями звенела...
Ты это? Или это только тело?

6

Нет, это ты! Ты чувствуешь, ты слышишь,—
когда ударило по этажам
и отозвалось грохотом на крыше,
ты руку вдруг мою нашарил и пожал.

...А там темно, в палатах ледяных
дыханье видимым дымком летает...
Ни по чему другому отличают,
а по дыханью — мертвых от живых.

Я заглянула в бедные глаза,
потом, тебя оправивши неловко,
перетянула мерзлую веревку
и повернула саночки назад.

А вечером ты мыл уже посуду
и жалкий хлеб на порции кромсал.
Подумают, пожалуй,— это чудо,
но мы с тобой не верим в чудеса.

7

Мы слишком много видели смертей,
мы их внимательней, чем надо, наблюдали...
Да, в холоде, грязи и в темноте
всё может статься... Но скорей едва ли,—
не так у нас в семействе умирали!
И слишком ясен твой спокойный взгляд —
так умирающие не глядят.

Да, это страшно,— это смерть, стихия,
но жизнь пока еще в твоих руках;
с таким, как ты, не сладит дистрофия,
но, ты заметь, я говорю: «пока».

Ведь нависающая над тобой угроза
определяется не качеством глюкозы,
не полным распадением белка,
не тем, что сыты мы или не сыты,
и не осадками эритроцитов,
но, ты заметь, я говорю: «пока».

Пока ты улыбаешься стихам,
пока наизусть Пушкина читаешь,
пока ты помогаешь старикам
и женщине дорогу уступаешь,
пока ты не вымаливаешь пищи

и не бросаешься на хлеб, как нищий,
пока ребенку руку подаешь
и через лед заботливо ведешь
старательными мелкими шажками,
пока ты веру бережешь, как знамя,
держись ее, и ты не упадешь!

8

Да, Ленинград остыл и обезлюдел,
и высятся пустые этажи,
но мы умеем жить, хотим и будем,
мы отстояли это право — жить.

Здесь трусов нет, здесь не должно быть робких,
и этот город тем непобедим,
что мы за чечевичную похлебку
достоинство свое не продадим.

Есть передышка — мы передохнем,
нет передышки — снова будем драться,
за город, пожираемый огнем,
за милый мир, за всё, что было в нем.
...За милый мир, за всё, что будет в нем,
за город наш, испытанный огнем,
за право называться ленинградцем!

9

Ты вспомнил юг? Нет, это не измена...
Что знали мы? Что видели с тобой?
Песок, и набегающая пена,
и аркадийский ветряный прибой...

Там легкая, короткая зима,
там восемь месяцев пирует лето,
там камни пахнут солнцем, там дома
от крыши до фундамента прогреты.
А здесь, ты помнишь, как на нас в июле
дожди ноябрьской стужею пахнули?

А май!.. У нас гледичия цветет.
Ты помнишь? Осы поют над жасмином...
А здесь четвертый день, за льдиной льдина,
проходит ладожский неумолимый лед...
Нет, это не измена. Всё во мне
тоскует по родимой стороне.

Опять припоминаю всё сначала...
Моя родная теплая земля!
О, как она дрожала и стонала,
под вражескими танками пыля!

Я украинка, я жена, я мать,
и мне бы так растрепанной стоять,
как та простоволосая стояла
под виселицею и не могла кричать,
и, складывая руки, заклинала:
— Что ж ты лежишь? Теперь нельзя лежать!
Вставай, сынок, и начинай сначала...

Я украинка, я жена, я мать.
Вставай, сынок, сейчас нельзя лежать!

10

Напоминает ранняя весна
обильем, изобилием примет,
всем, что имеет запах, вкус и цвет,
незабываемые времена.

Незабываемые времена
напомнит нам когда-нибудь весна!

Наш мир сейчас определен блокадой,
наш мир сейчас не больше Ленинграда,
он не оправился еще от зимней стужи,
нет, он не беден, он предельно сужен,
но в этом мире проступает резче
значенье слова, назначенье вещи.

Вот это стол,— работать. Вот кровать,—
не думать, не валяться, только спать.
Вот героизм — без жалобы, без вздоха,
вот мужество — без скидки на эпоху!

Мы все сейчас великолепно знаем,
что этот мир совсем не обтекаем,—
он грубо слажен, он шероховат,
он весь подымлен горечью пожарищ,
он весь протрачен горечью утрат,
но в этом мире ходит слово «брат»
и ходит обращение «товарищ»...
(Они совсем особая порода —
товарищи сорок второго года!)
Так как же в этом мире понимать
простое и большое слово «мать»?

11

Я убирать постель не торопилась,
все около ходила, все ждала,—
ведь там, под одеяльцем, сохранилось
еще немного детского тепла.

Я толстой книгой лампу заслоняла,
чтобы тебе не помешал огонь.

А это темечко — оно дышало
и билось в материнскую ладонь...

Так понемногу ты мужал, ты рос...
Чем обернулся мир перед тобою?
Холодной пылью летнего прибоя,
встревоженным гудящим роем роз,
сухим, соленым черноморским зноем,
полынным ветром, радугой стрекоз...

Суровая, отбитая в боях,
прошла иначе молодость моя, —
она не только пела и сверкала,
она кидалась в берег тяжело,
она ломила крепкое весло,
как море у девятого причала...
Мне с молодостью очень повезло —
она вплотную с Октябрем совпала!

Волнуясь, сомневаясь и любя,
как я боялась, милый, для тебя
спокойной жизни, маленьких событий,
холодных, ровных, равнодушных дней
для юности бунтующей твоей,
чтоб жить легко и чтоб легко забыть их...

Нам то не дорого, что взято без труда...
Нет, я беды тебе не накликала,
но если где-то в мире есть беда,
то надо с ней расправиться сначала!

К стихам, к цветам и к книгам бы твоим
еще б горячий орудийный дым,
и жизнь намного стала бы дороже.
О, родина моя, прости меня!
Я до июньского трагического дня
не доверяла нашей молодежи.

Она стоит! Стоит, как год назад,—
он выдержал, наш город Ленинград,
почти в упор поставленный под дуло!
Как слишком поздно понимаю я,
что молодость прекрасная твоя
уже давно мою перехлеснула...

. . . .

...Я обнимаю худенькие плечи,—
ведь больше мне сейчас ответить нечем,—
и говорю тебе, как друг, как мать:
— Вставай, мой сын, сейчас нельзя лежать!

12

И ты поднялся. Так встают из гроба.
Ты зашагал. Так зашагал бы робот,
механикой и волею ведом.
И вышагнул. А улица рябила,
а сердце молотом с размаху било,
и, как корабль, покачивался дом...

А я ходила в угол из угла
и все ждала тебя. Как я тебя ждала!

Вошел, с трудом переставляя ноги,
вошел, времянку тронул по дороге,—
холодная... Ты чаю не спросил.
Хлеб? Я тебе оставила немножко.
Ты ел, в ладони собирая крошки,
солил и ел, потом опять солил.
И вдруг сказал: — Я, кажется, смогу
с ребятами работать «на снегу»!

Вот я почти закончила рассказ
о ленинградце, о любом из нас.
Потом уже совсем не страшно было,
ты уходил, я тоже уходила,

работали и рядом и не рядом,
на Кировском попали под обстрел,
тебя слегка контузило снарядом,
Дом Каторжан шатался и звенел,
Нева сердито на быки бросалась...
— Зажмите уши и откройте рот!

И только в мышцах странная усталость,
и по зубам горячим ветром бьет.

13

Еще одну припоминаю встречу...
Была весна, был вечер и не вечер,
на западе еще сиянье тлело,
а небо все светлело и светлело,
и там, где тени сходятся в саду,
они почти столкнулись на ходу.

Так... уличный случайный разговор,
обычный, без особенного смысла,
но, губы закусив и руки стиснув,
я до конца дослушала его.

— Отец живой, похоронили мать...
Она сама себя похоронила.
Она же хлеб и весь паек делила,
а как делила — надо понимать.

Но нам, Андрейка, к лету наступать!
Я и сейчас уже военный вроде...
Ведь мы-то где — на Кировском заводе!..

Теперь уже чаек с конфетой пьем
и к празднику кое-чего получим.
Теперь, Андрейка, мы переживем,—
у нас народ — ого, какой живучий!

Веснушки. Плохо вымытая шея
(мы умываться снегом не умеем).
Большие уши, нос, как все носы,—
обычный мальчик средней полосы;
а из кармана ватного пальтишка
заманчиво выглядывает книжка...

Он по карману хлопает: — Эх, ма!
Хорош писатель Александр Дюма!

14

Мой милый друг, товарищ неизвестный,
мальчишка с Петроградской стороны!
Ведь в нашем тесном мире вправду тесно,
мы встретиться с тобой еще должны!

Мы не о славе помышляли в эти
тяжелые недели... Но, как знать,—
учитель, может быть, о нас расскажет детям —
как надо ждать, как надо побеждать!
Да, он мне тоже по Дюма знаком,
он — Третий, может быть, или Четвертый,
он обивает пыль с больших ботфортов
надушенным фуляровым платком,—
таким в повествование порой
вступает исторический герой...

А мы с тобой в историю войдем
так запросто, как люди входят в дом.

Но дом — особенный, но дом, в котором
разворотило бомбой потолок,
железные жгутом свернуло шторы,
который больше выстоять не мог,
но выстоял! Суровейшими днями,
лютейшей ленинградскою зимой,
по пояс коченеющий в снегах...
Войдем в историю, как входят в дом родной,
как в милый дом, оставленный врагами,
как в отчий дом, отбитый у врага!

ЭПИЛОГ

Над Кировским стоит такой закат,
как ровно десять месяцев назад,
как будто зарево над Ленинградом,
как будто бы Бадаевские склады
горелым жиром за Невой чадят...
Пожарной лестницей, как в сон, как в сад,
мы поднимаемся в такой закат!

Там, за Тучковым, парусная гавань...
Лесные склады, эстакада, порт.
По эту сторону гранитный и державный,
великолепный город распростерт.

И, отнимая у небес сиянье,
над площадью, над знаменитым зданьем,
она горит, попрежнему светла,
твоя адмиралтейская игла.

Стой, как стоял, наш город величавый,
над свежею и светлою Невой,
как символ мужества, как воплощенье
славы,
как разума и воли торжество!

Сентябрь 19.1 г. — август 1942 г.

Ленинград — Москва

Редактор Е. Книпович

А 491 Подписана к печати 8/VII 1943 г. Печ. л. 3/4.
Авт. л. 0,82 Уч.-изд. л. 0,87 Тир. 10.000 Зак. 1054. Цена 1 руб.

6-я типография ОГИЗ'а Москва, 1-й Самотечный пер., 17.

1 руб.

14412